

«ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»: ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН И СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Евгений Добренко

В 1942 году, в блокадном Ленинграде, вышла книга, посвященная 25-летию советской исторической науки. Книга открывалась статьей академика А. Панкратовой о том, как популярна история, и какой «горячий отклик в сердцах читателей находит она в Советской стране». Советский читатель с огромным интересом следит за каждой новой книгой советских историков. «Эта особенность советского читателя ко многому обязывает и советского писателя, в том числе и историка», — заключала Панкратова¹.

Итак, советский историк — одна из разновидностей советского писателя. Ну а писатель? «Наш исторический роман, — читаем у одного из самых популярных исторических романистов 1930—1940-х годов, автора «Великого Моурави» А. Антоновской, — должен быть не только занимательным, но и познавательным, а писатель — не только художником, но и исследователем, вооруженным передовой наукой»².

Обратимся к автору первой книги о советском историческом романе М. Серебрянскому: «переоценка исторического прошлого как раз и составляет одну из существеннейших особенностей советского исторического романа. В этом смысле он вместе с марксистской исторической наукой делает одно дело»³.

Подобные совпадения, конечно, не случайны: история — это и есть литература, а историк — нарратор. Иначе говоря, история — только рассказ, так или иначе освещающий те или иные события, «имевшие место быть». Нам мало известно о том, что было (и было ли вообще). И чем раньше оно было, тем меньше о том известно. В конце концов, рассказ о прошлом — есть только нарисованная историком картина, в принципе мало чем отличающаяся от исторического полотна, романа или фильма. Будем различать историю и прошлое. Задача историка есть превращение прошлого в историю-рассказ.

Историк — всегда интерпретатор прошлого. Потому-то историю нельзя писать. Ее можно только все время переписывать. Сколько русских историй (только нового времени) нам известно? Татищевская история петровской эпохи, миллеровская и антимиллеровская (ломоносовская), просветительская, карамзинская, погодинская, история, основанная на концепции «официальной народности», славянофильская, народническая исторические концепции, соловьевская, кавелинская, костомаровская, государственные теории русской истории от Чичерина до Милокува, истории Иловайского, Данилевского, Ключевского, Кизеветтера, Павлова-Сильванского, Рожкова, Покровского... Все эти и другие истории описывают по-разному одни и те же события. Разница между ними — в отборе, оценке, наконец, в политико-идеологической матрице, на которую налагается тот или иной исторический материал.

Проблема природы исторического знания сама имеет огромную историю и связана с философскими, политическими, идеологическими, эстетическими концепциями. Так что в значительной мере историография есть история смены взглядов на прошлое и современность. Иными словами, это история смены дискурсов

о прошлом, история смены оптик и стратегий чтения прошлого. Основная проблема исторического знания есть, таким образом, проблема отражения и претворения прошлого (тех или иных его форм и в тех или иных целях модернизации), а не только и не столько проблема исторического источника или факта, каковые тут же подлежат бесконечной исторической переинтерпретации. История отражает не столько прошлое, сколько *отношение* к прошлому. Другими словами, история есть *дискурс* о прошлом. Здесь нас будет занимать специфика этого дискурса в сталинскую эпоху.

Существует убеждение, что в революционную эпоху история была разрушена футурунаправленностью сознания пламенных революционеров, для которых прошлое было лишь предысторией человечества, а история начиналась с «залпа “Авроры”». Далее, согласно этому распространенному мнению, в середине 1930-х годов, произошел «the Great retreat» (Большой возврат (*англ.*)) и — «на смену безоговорочному отрицанию старого пришел принцип его бесконечной модернизации»⁴ (попутно заметим, что «отрицание» также является одной из форм модернизации). Эта схема, запечатленная во всей советологической историографии, зеркально отражает собственно советскую схему, согласно которой в середине 1930-х годов произошел отказ от «левацкого, нигилистического, наплевательского отношения к народному прошлому» и была осознана роль истории, ее «важнейшее значение для дела нашего государства, нашей партии и для обучения подрастающего поколения»⁵.

Для того, чтобы понять, что представляла собой схема *советского* исторического сознания, необходимо понять, чем в действительности была отброшенная впоследствии модель *революционного* исторического видения. Наиболее полным выразителем исторического сознания пламенных революционеров был, по общему признанию, Михаил Покровский, которого высоко ценил Ленин, и который вплоть до своей кончины в 1932 г., выполняя поистине невероятное число функций в сфере управления советской идеологией и образованием, оставался «главным марксистским историком» Советской России⁶.

М. Покровский начинал с переработки философии истории Риккерта, полагавшего, что никакие общие понятия и законы не приложимы ко всегда индивидуальному историческому процессу, что не существует никаких «исторических законов» и «исторических закономерностей». Из эмпирии, каковой виделась история Риккерт, следовало делать отбор исторических фактов на основании «критерия ценности». Покровский полагал, что в основе отбора исторических фактов должен лежать «принцип целесообразности». Иными словами: «История есть политика, опрокинутая в прошлое». И хотя формула эта впоследствии была «осуждена», уйти от нее истории и литературе некуда: как дискурс о прошлом история всегда есть выражение отношения к прошлому. В этом качестве она не может в той или иной степени не быть «политикой, опрокинутой в прошлое». В еще большей степени это относится к историческому роману или фильму⁷. В той мере, в какой история была предметом борьбы за власть (а других «историй» в истории не бывало), в той мере она является предметом прямого (или косвенного) политического действия. Покровский лишь (вполне по-ленински), «сорвав фальшивые вывески», размистифицировал это содержание истории.

Для революционной культуры вообще свойственно подобное «обнажение приема»; для советской, напротив, характерна поэтика идеологического магизма. Спор с Покровским начался как раз с попытки вновь упрятать политический смысл «боев на историческом фронте». Как известно, «поворот середины 1930-х» состоялся из серии акций власти с 1932 по 1937 г. Это были акции в разных жанрах — от постановлений ЦК ВКП(б) в связи с публикацией «Краткого курса» партии, постановлений Совнаркома и ЦК о преподавании гражданской истории в советских школах до открытых писем Сталина, Жданова и Кирова то по поводу невер-

ных публикаций в журналах, то по поводу конспектов учебников истории СССР⁸. В этих документах высшее партийное руководство инициировало прямые атаки на «покровщину». Обвинения (поскольку речь все время шла о преподавании и учебниках) сводились к тому, что Покровский создал «вместо истории» голые, отвлеченные, абстрактные схемы, что вся его история — лишь «схематическая социология», что нужно создать «конкретную марксистскую историю», которая излагала бы историю «в живой занимательной форме... с характеристикой исторических деятелей». Словом, требовалось вернуть историю к ее литературным — нарративным — истокам.

Это был в значительной степени литературный спор. «Занимательная» история должна была строиться на иллюстрации определенных идеологем, которые даже специально формулировались в партийных инвективах в адрес историков. Так, критикуя конспект учебника по истории СССР, выполненный группой Ванага (вскоре оказавшегося «врагом народа»), Сталин, Жданов и Киров писали:

«В конспекте не подчеркнута аннексионистско-колониаторская роль русского царизма, вкуче с русской буржуазией и помещиками («царизм — тюрьма народов»).

В конспекте не подчеркнута контрреволюционная роль русского царизма во внешней политике со времен Екатерины II до 50-х годов XIX столетия и дальше («царизм как международный жандарм»)»⁹.

Эти идеологемы («международный жандарм», «тюрьма народов» и др.) следовало проиллюстрировать в новой, «занимательной истории», другие следовало устранить (например, «разинщина», «пугачевщина» и др.). Авторы «Замечаний» чувствуют себя в истории как настоящие писатели, занимаясь составлением различных периодизаций или компоуя исторический материал тем или иным образом. Так, в замечаниях Сталина, Жданова и Кирова о конспекте учебника новой истории предлагается начинать «новую историю» с французской революции, а нидерландскую и английскую революции «отнести к концу учебника средней истории» («Мы предлагаем выкинуть из конспекта первую часть (6 глав), т. е. весь первый раздел, заменив его кратким введением»). «Основной осью учебника новой истории» должно было стать противопоставление буржуазной и социалистической революций¹⁰. Словом, высшие партийные руководители сами взялись за написание истории, а Сталин был не только автором знаменитого «Краткого курса» истории партии, но и унифицированных курсов русской и всемирной истории. Его почерк легко узнаваем даже в «Постановлении юрии правительственной комиссии по конкурсу на лучший учебник для 3 и 4-го классов средней школы по истории СССР». В одном из первых «замечаний» читаем: «авторы заполняют целые страницы напыщенной болтовней о самой счастливой стране в мире»¹¹, в другом месте: «большинство авторов эпоху построения социалистического общества в СССР описывают больше восклицательными знаками, кликами восхищения и разного рода трогательными анекдотами, песенками и общими характеристиками...»¹² Этот развязный тон, безусловно, принадлежал Сталину — никто кроме него не посмел бы подобным образом говорить о «самой счастливой стране».

Но это был, конечно, не только литературный, но и исторический (точнее: собственно политический) спор — обсуждению подлежал не только *способ* написания истории, но также и «принцип ценности» (Риккерт) и «принцип целесообразности» (Покровский) в отборе и оценке событий прошлого. «Литературность» скрыла то новое, что принесла с собой «занимательная» концепция русской истории. Эта концепция не была, как принято думать, простым «отказом» от революционаризма Покровского или только «возвратом» к прежним русским «Историям». Ее отношения с прошлым строились на принципах общей стратегии советского исторического сознания, в основе которого лежал принцип *исторического синтезирования*.

Всякий знаком с известной способностью советской идеологической модели сочетать в себе, казалось бы, противоположные вещи (одновременно в ходу такие понятия как «пролетарский интернационализм» и «безродный космополитизм», «поддержка национально-освободительных движений» и «буржуазный национализм» и т. д.). Благодаря сохранению внутри себя противоположностей, которые «диалектически» равноправно сосуществуют, семантически противоположно маркируя одни и те же явления, советская идеология была готова к практически бесконечным мутациям, сменам «оттепелей» и «заморозков», при которых всплывал то один полюс, то другой, причем один другого никогда не отменял. Подобные весы сложились исторически: советская культура не является, конечно, прямым «продолжением революционной культуры» (как она сама себя презентировала), но она также не просто культура «реставрации» (как оценивали ее на Западе). Она содержит в себе и то, и другое одновременно (не случайно в сталинское время был фактически отменен один из «законов гегелевской диалектики»: «закон отрицания отрицания» попросту не упоминается в «Кратком курсе»). Потому идеология «заморозков» каждый раз есть «воспоминание» о реставрационном прошлом и, напротив, в эпоху «оттепелей» в советской культуре говорят гены «пламенных революционеров». Это «единство и борьба противоположностей» обеспечивали советской культуре удивительную целостность и устойчивость. Сознание сталинской культуры — сознание наследия и синтеза. Она ничего не отбрасывает, но все соединяет, являясь «наследником», снимающим все противоречия предыдущих эпох¹³. «Эпоха социализма, — писал М. Розенталь, один из главных ниспровергателей “вульгарного социологизма в литературе”, — должна быть и будет эпохой диалектической обработки всей истории мышления, естествознания, искусства»¹⁴. Этим определяется и характер исторического видения в сталинской культуре.

Всякая культура фокусирует свой интерес на определенных точках в истории. То одни, то другие исторические события становятся важными в свете актуальной проблематики современности. К числу таких всегда важных в революционной, а затем советской культуре относятся исторические события и эпохи, фокусирующие в себе наиболее болезненные для данной культуры проблемы — насилия в истории, вопрос о цене революционных преобразований, укрепления и расширения государства, проблемы власти, ее захвата и др. «Исторические споры» есть споры аллюзивные — прежде всего об отмеченных проблемах современности, решаемых на «историческом материале». Дрейф советского исторического сознания от революционного в поиске нового синтеза отразился в бесчисленном количестве исторических книг, картин, романов, пьес, фильмов. Спор с Покровским высветил совершенно новый, уже собственно советский, взгляд на русскую историю.

Чтобы понять характер советской исторической оптики, следует осознать, что всякая оптика, основанная на синтезировании, не может не быть композитной, непоследовательной и противоречивой — по определению. Советская модель русской и всемирной истории обычно рисуется следующим образом: «Все развитие человечества рассматривалось как освободительное движение трудящихся, оно неминуемо вело к победоносной российской пролетарской революции, поэтому все, что ей предшествовало, было так или иначе подготовкой Октября — начала мировой революции, которая положит конец “миру насилия” ради строительства царства божия на земле. И все, на что ни падал взор политика, идеолога, художника и просто гражданина, надлежало рассматривать в таком телеологическом свете и толковать в этом мессианском духе»¹⁵. Между тем, это схема не советского, но именно революционного, досоветского исторического мышления. В советском изводе история предстает в куда более сложном виде, что естественно: отказываясь от всех предшествующих (и революционных, и консервативных)

исторических доктрин, советская история предпринимала небывалую попытку соединить в *одной* исторической концепции, условно говоря, Покровского с Иловайским, Рожкова с Погодиным. Это сообщало новой истории заведомую межумочность, новое историческое видение можно было бы описать как своеобразную историческую шизофрению.

Прежде всего, история вновь обрела в сталинскую эпоху персональное измерение. «Роль личности в истории» была решительно восстановлена, что было связано с пересмотром марксистской доктрины, согласно которой история представляла собой поле «классовой борьбы» и перманентного конфликта между «производительными силами» и «производственными отношениями». Покровский довел этот взгляд на историю до блеска формулы: в мономаховой шапке по русской земле ходил торговый капитал. Потому-то «марксистских историков» вовсе не занимали «исторические личности», а русские князья и цари (будь то Рюриковичи или Романовы) были для Покровского сплошным паноптикумом, в котором он если и выделял наиболее выдающихся лиц, то тут же давал им дискредитирующие характеристики. Наиболее известна и типична для подобного взгляда характеристика Петра. Не только личные качества царя (сифилитик, почти безумный к концу жизни, садист, собственноручно пытавший сына, алкоголик, заперший свою жену в монастырь), но и его деятельность не могли найти сочувствия в «марксистской истории». Так, Покровский считал лишь «старым предрассудком» мнение, будто Петр основал регулярную армию, поскольку еще до него существовало стрелецкое войско; петровская гвардия была, согласно Покровскому, не столько военной силой, сколько выполняла роль жандармерии; новый флот был негодным, поскольку строился из сырого леса; внешнеполитические акции ничего не дали, но лишь привели к разорению страны и т. д.

Взгляд Покровского на «роль личности в истории» характеризует такое красноречивое утверждение: «Мы, марксисты, не можем рассматривать личность как творца истории. Для нас личность есть тот аппарат, через который история действует. Может быть когда-нибудь эти аппараты будут создаваться искусственно, как мы теперь строим искусственно электрические аккумуляторы»¹⁶.

Напротив, советский взгляд на ту же проблему характеризуется высоким пиететом к «историческим личностям», что было определено характером власти в эпоху, впоследствии обозначенную как «период культа личности»¹⁷. Это был возврат ко вполне конкретно в русской историографии источнику — Дмитрию Иловайскому, автору учебников истории для школ в дореволюционной России, полагавшему, что на первом месте в истории стоят династии и двор, в результате чего история превращалась в смену княжений и царствований, а исторические события описывались как прямые результаты действий «царствующих особ». История Иловайского была в высшей степени «занимательной». Не менее занимательной стала русская история и после Покровского. «Интерес к истории нашей страны, — читаем в статье «История нашей Родины и задачи советских писателей», опубликованной в журнале «Знамя» в 1937 году, — с могучей силой поднимается сейчас в широчайших массах нашего народа. Он выражается и в многочисленных статьях о памятных датах нашей истории, которые печатает «Правда», и в том огромном внимании, которое партия и правительство уделяют делу исторического образования, и в том, с каким интересом и теплом встречает наш советский читатель подлинно художественные и исторически правдивые произведения искусства и литературы»¹⁸.

К таким произведениям относились романы «Петр Первый» А. Толстого, «Дмитрий Донской» С. Бородин и «Дмитрий Донской» М. Езерского, «Козьма Минин» и «Иван Грозный» В. Костылева, «Великий Моурави» А. Антоновской, «Давид Строитель» и «Десница великого мастера» К. Гамсахурдиа, «Святослав» С. Скляренко, «Юность полководца» В. Яна (об Александре Невском), «Даниил

Галицкий» А. Хижняка, «Ратоборцы» А. Югова, «Евпатий Коловрат» В. Ряховского, «Ханский Ярлык» Б. Изюмского (об Иване Калите), «Иван III — государь всея Руси» В. Язвицкого, «Багратион» С. Голубова, «Флотоводец Ушаков» Г. Шторма и «Адмирал Ушаков» Л. Раковского, его же «Генералиссимус Суворов»; пьесы А. Толстого и В. Соловьева об Иване Грозном, И. Кочерги «Ярослав Мудрый», О. Форш и Г. Бояджиева «Князь Владимир», Е. Пермяка «Шумите ратные знамена» (о князе Игоре), «Андрей Боголюбский» А. Чеботарева, «Адмирал Ушаков» А. Штейна; поэмы К. Симонова «Ледовое побоище» (об Александре Невском), М. Бажана «Даниил Галицкий», И. Сельвинского «Ливонская война» (об Иване Грозном)... Это лишь наиболее известные литературные произведения¹⁹, посвященные «царствующим особам» или военачальникам (заметим попутно, что исторический роман был той самой «толстой книгой», которая была наиболее читаема и прочно занимал первое место в структуре читательского спроса).

Еще отчетливее процесс «персонализации» истории в советском кино, где в 1930-е годы возникает супержанр — биографический фильм²⁰, в послевоенные годы, вытеснивший главный довоенный жанр — историко-революционный фильм. «Автором» биографического фильма в еще большей степени, чем исторического романа, была власть. Как известно, Сталин не только занимался «приемом кино-сценариев», давал советы режиссерам и назначал конкретных исполнителей для работы над картинами, но «обеспечивал кинематограф целыми программами развития»²¹. Практически весь набор персонажей биографических фильмов был дан Сталиным лично. Это относится прежде всего к фильмам историко-биографическим. Картины об Александре Невском, Суворове, Кутузове, Ушакове, Нахимове были заказаны лично им. «Во всяком случае, — вспоминал К. Симонов, — он ничего так не программировал — последовательно и планомерно, — как будущие кинофильмы, и программа эта была связана с современными политическими задачами, хотя фильмы, которые он программировал, были почти всегда, если не всегда, историческими»²². Следует отметить, что к работе над сценариями историко-биографических фильмов были привлечены наиболее престижные в то время исторические писатели. Над сценарием «Петра Первого» работал А. Толстой, сценарий «Минина и Пожарского» был написан В. Шкловским, «Александра Невского» — П. Павленко, «Пугачева» — О. Форш, «Богдана Хмельницкого» — А. Корнейчуком, «Салавата Юлаева» — С. Злобиным и т. д.

Вернувшись в русскую историю через литературу и кино, «исторические лица» — прежде всего цари, князья, военачальники — выглядят сплошь «собираателями и защитниками русского государства», людьми небывалой отваги, государственной мудрости и политической дальновидности. Не будем обращаться к хрестоматийным примерам — Александру Невскому, Ивану Грозному или Петру. Иван III — фигура в русской истории, пожалуй, менее значительная. В романе В. Язвицкого «Иван III — государь всея Руси» мы его находим гениальным с отрочества. Уже в 9 лет он «дивно разумен. Велик телесами и разумением, будто и не отрок, а парубок». Окружающие Ивана не перестают восхищаться его умом и знанием «хитрости книжной» («духом ты и разумом не отрок, а яко юноша зело мудрый»), «взрослости не по годам» («лет двенадцати... глядел совсем как взрослый»). В 13 лет наш «отрок» уже «выше и дородней» отца, а умом он «не токмо мужиков, но и стариков умней». «Телесность» царствующего отрока прямо-таки сказочная — появляется борода, «а усы и ранее того». В тринадцатилетнем возрасте впервые вкушает будущий царь «сладость любовных ласк» (разумеется, «вдовушка», с которой он бурно проводит время, заявляет: «Чай тебе не более семнадцати лет?»). Рассуждает тринадцатилетний Иван совершенно как зрелый муж о семье, детях и царском своем долге... Это только начало — за таким царем читателю предстоит следовать все полторы тысячи страниц романа²³.

Подобное отношение к «историческим личностям» традиционно читается на

фоне параллельно развивавшейся сталинианы и ленинианы. И хотя связь «новой иловойщины» с «культом личности» прочитывается совершенно отчетливо, не следует переоценивать традиционализм советской концепции русской истории. Механизм исторического синтезирования был куда сложнее и строился не на собирании, но на разборке:

— отдельно существовала «личность» царя или князя (здесь все было полно небывалого пиетета, если данный персонаж выполнял «волю истории», каковая сводилась к укреплению государства);

— отдельно оценивалось «историческое значение деятельности» правителя, либо соответствовавшей «поступательному ходу истории», либо противостоящей ему;

— отдельно существовали «народные массы», которым почти всегда полагалось страдать от царей, но эти страдания также становились оправданными, если деятельность последних «носила прогрессивный характер» (как в случае с Иваном Грозным или Петром).

Таким образом, главными персонажами советского исторического театра всегда были три (вместо одного «торгового капитала» у Покровского или одного царя у Иловойского) героя: Правитель (власть), Историческая закономерность (образ власти) и Народные массы. Собственно, вся стратегия советского переписывания русской истории была стратегией перебалансировки этих компонентов, из которых слагалась «правдивая историческая картина» (например, цари хороши, а царизм — плох; крестьянские восстания хороши, а сами восставшие, наоборот, не понимали, кто их истинный враг; «царская Россия — тюрьма народов», но одновременно — присоединение к ней «национальных окраин» прогрессивно; бюрократия плоха, а централизация «исторически необходима» и т. д., и т. п.). Границы были обозначены, но в нужный момент перемещались — система сохраняла поэтому небывалую гибкость и была готова к любым изменениям, всякий раз оставаясь самой собой.

Подобный механизм «переработки истории» не только вырастал из прагматики власти, но идеально соответствовал природе историзирующего искусства. Гегель, сопоставляя историческое описание с искусством, видел цель первого в отражении дисгармонии мира, а второго — в гармонизации реальности. В сталинской культуре границы между этими двумя типами исторического видения размываются. Историческое описание все более подчиняется целям эстетизации истории, тогда как соцреалистическое искусство в своем «тотальном реализме» определенно возвращается к миметическим основам. Обе эти противоположные во многих отношениях стратегии чтения истории подчиняются «ленинской теории отражения». Как в «исторической науке», так и в искусстве, происходит возврат — на новом уровне — к «доистории» — мифу, всегда адаптирующему индивида к природному и социальному целому. Стержнем возникающего в результате «царства гармонии» являлась «историческая закономерность» (или, говоря словами Славоя Жижека, «Большой Другой» власти).

В сталинскую эпоху она была сведена к заботам о государстве (произошел своеобразный возврат — на новом уровне — к карамзинской концепции, в которой история и сводилась к истории государства), что резко повысило степень прогрессивности сильного централизующего правителя и, соответственно, как было сказано впоследствии, «умалило роль народных масс»²⁴. Ясно поэтому, что, например, бунты расцвечивать не следовало, а потому и самое отношение к историческим персонажам типа Булавина, Болотникова, Разина или Пугачева не могло быть однозначно позитивным (обычно предполагается, что в русле революционных традиций эти «борцы за народное дело» непременно канонизировались в советской истории). Стоит напомнить, что уже у Покровского «разинщина» и «пугачевщина» (марксистские историки продолжали оперировать этими понятиями) были лишены всякого ореола. Так, Покровский полагал, что восста-

ние Разина было чисто казацким, а причина его была экономической (борьба «московского» и «казацкого» капиталов). Крестьянского характера этого (так же как и пугачевского) восстания он не признавал, «смазывая стихийность» и полагая, что крестьяне под водительством Пугачева хотели только «истребить дворян», не видя врага в самодержавии. Теперь же на «крестьянские войны» предлагалось смотреть иначе. «Крестьянские восстания» оставались в советской интерпретации русской истории постоянным фоном: они обречены были на поражение, поскольку не могли не быть стихийными и не имели «авангарда» (только пролетарская революция может иметь успех благодаря тому, что партия вносит сознательность в революционное движение). «Поучительный» статус восстаний при этом повышался, они выглядели более благородно (см. соответствующую интерпретацию «Капитанской дочки», введенной по этому случаю в программу советской школы, с непременным подчеркиванием благородства и справедливости Пугачева), но отношение к «русскому бунту» становилось намного более дифференцированным — как всегда, задача соединения Иловайского с «революционно-классовой переоценкой» истории была непростой.

Диапазон, благодаря отмеченной диалектичности, расширился — от демонстрации единства царя с народом до живописания «антинародности царизма». Знакомые весы вновь начинают крениться в сторону «царствующих особ»²⁵. Характерны в этом смысле три переработки А. Толстым пьесы «На дыбе». Вначале концепция пьесы была резко «антипетровская». Затем вводятся и все более усиливаются мотивы взаимопонимания Петра и народа и наконец, в последней редакции А. Толстой вводит в пьесу три поколения крестьянской семьи Поспеловых, каждый из которых проходит путь приближения к царю, превращаясь в офицеров петровской гвардии, а в финале даже появляется столетний «в коммунизм идущий дед» Поспелов (прямо как в панорамных романах А. Иванова или Г. Маркова) и делится с царем своими воспоминаниями о Смутном времени, Минине и Пожарском, которых он «не видал, а помнит», прославляя Петра за «спасение Отечества».

Роман Д. Петрова-Бирюка «Дикое поле» посвящен той же эпохе, но «с другой стороны» — в его центре восстание Кондратия Булавина. Оказывается, впрочем, что Булавин (лично симпатичный) мало чем отличается от изменников, коими окружены прогрессивные русские цари, ибо его восстание наносит вред национально-государственным интересам страны. С самого начала восстания Булавин сомневается в правильности своих действий против царя: «Правильно ли они поступают, замышляя здесь заговор против царских полковников и дьяков, в то время, как царь напрягает огромные усилия, защищая страну от шведов? Нехорошо, — решает Булавин. — Вольно или невольно, а своим заговором он помогает врагу»²⁶. Петр при этом изображается «народным царем», рассуждающим о благе народа и вере в него. Изъясняется царь при этом следующим образом: «Хочу я расшевелить разум народный, не для себя хочу, мне немного надо, а для нашей державы, для самого же народа» или: «Сам я, Петрушка, знаю силы свои, верю в них, верю в своих солдат, верю в народ... Но... много злых людишек у нас. Не любят меня, мутят народ... Не разумеют того, что Петр не о себе печется, а о народе своем»²⁷. В течение всего романа перед нами разыгрывается удивительная драма: автор пытается примирить восставших с царем. В результате Петр чуть ли не примиряется с восставшими, а Булавин приходит к осознанию ошибочности своей деятельности. Вот как рисует автор сцену накануне самоубийства Булавина: «Много передумал за бессонную ночь Кондрат. Одна за другой лезут в разгоряченную, больную голову мысли. Как грозное видение, всгает перед ним мощная фигура царя Петра. Сурово спрашивает у него Петр: «Кондратий, зачем поднял меч супротив меня? Я хочу блага своему народу. Хочу сделать отчизну нашу крепкой и сильной на страх врагам. Моя правда, Кондрат!» Була-

вин вздрагивает и открывает глаза... «А что, если царь прав?»... После долгих и мучительных раздумий Кондрат решает помириться с врагом. Придя к такому решению, Кондрат почувствовал, как на сердце у него полегчало, словно камень, все время давивший его, свалился»²⁸. Вывод следует неутешительный: «Значит, правда царя побеждает... Видно ошибку я понес...»²⁹

«Ошибку понес» не только герой Петрова-Бирюка. По сути все исторические романы 1930—1950-х годов, посвященные «крестьянским войнам» (номинальный статус восстаний был повышен — они были объявлены теперь «войнами») — «Гулящие люди» А. Чапыгина, «Степан Разин» и «Салават Юлаев» С. Злобина, «Емельян Пугачев» Вяч. Шишкова, «Наливайко» И. Ле, «Повесть о Болотникове» Г. Шторма и др. в той или иной степени содержали ту же коллизию: борьба восставших с властью была борьбой с местными «притеснителями», так что часто кажется, что царь сам бы мог присоединиться к восставшим, и лишь непонятное недоразумение заставляет сражаться друг с другом этих во всех отношениях достойных людей. «Царствующие особы» почти везде выглядят мягкими, либеральными гуманистами-демократами. Так что и не удивляешься, читая, к примеру, в романе В. Язвицкого, как Иван III завещает перед смертью сыну Василию «помнить наиглавное: искать поддержку у народа»³⁰, или встречаясь в романе Д. Еремина «Кремлевский холм» об основании Москвы с таким монологом: «Но первое на Руси — это пахари да умельцы. Они созидают дворцы и храмы. Они добывают зверя и птицу, секут леса, засевают и убирают тучную ниву, оберегают родную землю от недругов в час напасти. Слава им, этим людям! Помыслы чистых да честных должны быть с ними! Почто же им выпал такой удел?»³¹ Чем глубже мы движемся в историю вслед за советским историческим романом, тем в более «народное государство» мы попадаем. Если из Москвы XII века перенесемся в Киев IX века, то окажемся свидетелями странной картины: оказывается, живущие в невероятной нищете закупы восстают против боярина (но никогда — против князя!), а во время обороны Киева от печенегов холоп так отвечает боярину (прямо по «Коммунистическому манифесту»): «Пошел прочь, боярин.., у тебя своя отчизна, а у нас, бедняков, своя»; соответственно некий рыбак (как будто только что прочел «Государство и революция») заявляет: «Ваша мужицкая воля на конце копья... ее воевать еще надо!». В Киеве произошла настоящая революция — «люди перестали кланяться именованым», но главным «народным заступником» выступает... Святослав. Смерды зовут его «князь-батюшка», и даже «предводитель народа» Добросласт (ненавистного боярина, против которого восстали закупы, звали, разумеется, Блудом) «скорее почувствовал сердцем, чем понял: что-то большое, важное крепко связывает его с князем»³². Из другого романа выясняется, что после Куликовской битвы Дмитрий Донской, объезжая княжество, объявлял в городах и селах: «Побежденный хан принужден теперь получать меньше дани, и поэтому вы, люди, будете платить меньше. — Народ встречал князя как героя и победителя»³³.

Русская история (сплошь про добрых князей и царей) в сталинское время необычайно подобрела. Характерно, что это «подобрение» тем сильнее, чем глубже в историю мы погружаемся. И напротив, чем ближе к Октябрю, тем более критика царизма распространяется на самих царей. Триада «Правитель-Историческая закономерность-Народные массы» вновь расщепляется, но теперь «закономерности» работают против «Правителя». Так, после Петра мы можем видеть сплошное вырождение романовской династии, идущее по восходящей и завершающееся полным разложением («агонией») российского императорского дома и гибелью государства. XIX век весь превращается в историю «трех этапов русского освободительного движения». Причем, ленинская схема подвергается тому же пересмотру, что имел место в связи с «крестьянскими войнами», с той лишь разницей, что теперь оппозиция «сознательность-несознательность» распростра-

няется не на крестьян и казаков, но на персонажей «трех этапов» (декабристов, разночинцев, народников). Подобная перемена также имела свою логику. Поскольку главная — государственная — задача оказывается после Петра выполненной, русские правители потеряли кредит «исторической прогрессивности». Сама русская революция в этой исторической схеме приобретает чисто государственное измерение. Ее антигосударственный пафос совершенно нивелируется. Напротив, революция спасла русское государство от превращения в колонию европейских империалистических держав.

В новой схеме русской истории содержится попытка решения основных проблем сталинской эпохи: личной власти, государственного заговора, экономического скачка, укрепления государственности, централизации и расширения государства, его внутреннего единства, борьбы с внутренними и внешними врагами. Этой проблематикой — без преувеличения — полностью исчерпывается набор сюжетов «занимательной истории». Потому-то советская историческая наука, так же как и исторический роман, пьеса или фильм, оказалась сплошным историческим маскарадом.

Петр Первый должен был представлять большевистскую индустриализацию, борьбу с изменой и внедрять мысль о прогрессивности мощного централизованного государства.

Иван Грозный также призван был демонстрировать историческую параллель сталинской эпохе: подобно тому как Иван IV завершал объединение страны вокруг Москвы и присоединял «отторгнутые ранее земли», Сталин накануне и после войны возвращал то, что было ранее отторгнуто у России; подобно тому, как Грозный для укрепления самодержавия пошел на создание опричнины, Сталин не остановился перед неслыханным террором во имя единоличной власти и сильной — «на страх врагам» — державы.

Духи полководцев (Александр Невский, Дмитрий Донской, Минин и Пожарский и др.) и военачальников (Суворов, Кутузов, Нахимов, Ушаков), которыми наполнилась русская история, также были потревожены во имя демонстрации национальной мощи.

Восставшие казаки и крестьяне «под предводительством» Булавина, Болотникова, Разина, Пугачева понадобились для того, чтобы продемонстрировать историческую невозможность победы тех, кто не имеет организованного политического авангарда — партии.

Нет необходимости продолжать перечисление гостей на этом историческом маскараде. Важнее та функциональная перемена, которая произошла с историей в сталинскую эпоху. В революционной культуре история играла роль куда более скромную (что понятно: в центре оказалось «творимое здесь и сейчас настоящее во имя будущего»), но тут она не меняла исторических нарядов. Скажем, апелляция к образам парижских коммунаров³⁴ носила в революционной культуре характер прямой проекции, тогда как монархическая аллюзивность постреволюционной — сталинской — культуры моделировалась принципиально иначе — сквозь сложную призму взаимоотношающихся зеркал, и не была, и не могла быть прямой. Оптическое устройство сталинской культуры отторгло прямую проекцию, поскольку такая проекция (не важно, якобинская или термидорианская) делала историческую картину плоской (недиалектичной). Можно предположить, что неприятие Сталиным эйзенштейновского «Ивана Грозного» было связано в действительности с тем, что Эйзенштейн применил характерный для революционной культуры принцип прямой проекции чтения истории, в результате чего Иван Грозный стал читаться прямо, заговорил слишком откровенно, историческая маска стала почти прозрачной (заметим, что это истончение исторической маски произошло у Эйзенштейна еще до работы над «Иваном Грозным» — уже в его Александре Невском, как не без сарказма заметил А. Довженко, проступали черты секретаря обкома).

История (и в научных трудах, и в литературе, и в кино) превратилась в настоящий патриотический домен сталинской культуры. «Советский патриотизм», сменивший в сталинскую эпоху «пролетарский интернационализм», не упразднил последнего, как принято думать, но лишь создавал диалектический полюс для того, чтобы в идеологической сети потек ток «государственного творчества».

Как известно, революционная концепция русской истории прямо артикулировала утопию беспочвенности (антигосударственности). Так, Покровский видел в татарах своеобразных культуртрегеров, утверждая, что «татары даже в XIII—XIV вв. вовсе не были “степными хищниками”, а были довольно высоко организованным полуседлым народом, а в области материальной культуры стоявшим выше своих русских противников, благодаря главным образом влиянию Китая, отчасти и арабов» и полагал, что жители юрты обладали «техническим превосходством» «не только над оседлым человеком Восточной Европы XIII века, но и над современным населением тех мест»³⁵.

В противовес традиции, утверждавшей, что польская интервенция XVII века была неприкрытой агрессией со стороны Польши, Покровский утверждал, что «Смута» — это буржуазное понятие, что в действительности это была эпоха восстания низов, а Самозванец опирался на поддержку казаков и московского служилого люда. Не удивительно, что Покровский, «не оценив как следует польскую интервенцию и сведши на нет героическую борьбу, которую вел русский народ с польскими захватчиками за свою национальную и политическую независимость»³⁶, не только не разглядел Минина и Пожарского, но и не увидел никакой доблести в русских ополчениях. В предельной форме этот взгляд выразил в те годы А. Безыменский:

Я предлагаю
Минина расплавить,
Пожарского,
зачем на пьедестал?...
Подумаешь,
они спасли Расею!
А может, лучше было б не спасать?³⁷

Таковыми же антипатриотическими были взгляды Покровского на войну 1812 года. Виновником войны он видел русское дворянство, боровшееся за свой «торговый капитал». Неудача войны виделась ему в трусости русских военачальников, боявшихся гениального Наполеона, бездарности и старости Кутузова. «Партизанской войне» он и вовсе дал самые уничижительные оценки. По Покровскому, народ боролся не с «иноземными захватчиками», а с мародерами, одетыми в мундиры. «Дубину народной войны» он трактовал следующим образом: «на защиту от разбойников, одетых во французские, вюртембергские, вестфальские и иные мундиры, поднималось крестьянство, вооруженное чем попало: и так как оно имело дело с неприятелем до последней степени дезорганизованным, то победа, и часто довольно легкая, оставалась на стороне крестьянства. На множестве отдельных примеров можно проследить, как именно этим путем защиты своего очага от мародеров пробуждался в массах тот патриотизм, о котором так много и бесплодно говорили наверху»³⁸. Один из учеников Покровского Пионтковский (впоследствии «враг народа») повторил это утверждение в известной интерпретации Рунича: крестьянство восстало «за своих кур и гусей», утверждая, что именно в этом и «заключались корни того крестьянского патриотизма, который старательно восхвалялся буржуазными и помещичьими историками»³⁹.

Так же антипатриотично смотрел Покровский на русскую внешнюю политику XIX века, утверждая, что, к примеру, русско-турецкая война не преследовала

никаких национальных интересов России, но была выгодна только Германии и стала результатом козней Бисмарка, переключившего интересы России с Европы на Турцию. Такой же бессмысленной была, согласно Покровскому, и русско-японская война.

Это только некоторые «вехи» русской истории в оценке самого влиятельного марксистского историка. Важно отметить, что заданный в революционной культуре вектор порождал *однополюсную* и потому непригодную для прагматики власти картину. Эта картина была не только антипатриотична (здесь вопрос стоял лишь о «принципе целесообразности»), но не годна для синтезирования, или, говоря словами М. Розенталя, для «диалектической обработки истории». Потому-то все эти «картины» и в истории, и в литературе были объявлены «вульгарными» («вульгарный экономизм», «вульгарный социологизм» и т. д.). Определение знаменательное: позиция как бы и верна, но одновременно — ложна. Сталинская культура осторожно и точно формулирует свои новые требования к истории. В передовой статье «Правды», посвященной «Замечаниям» Сталина, Жданова и Кирова по поводу конспекта учебника по «Истории СССР», говорилось о том, что «беда Покровского» (и всей советской школы историков-марксистов) состояла в том, что они «не видели переходов и передвижений в рамках одной формулы»⁴⁰. «Переходы и передвижения в рамках одной формулы» — изумительно точное определение принципа исторического синтезирования, исторической диалектики сталинской эпохи в целом: «формула» и верна, и ложна одновременно.

Процесс отказа от марксистской исторической концепции следует рассматривать в двух измерениях — культурном и собственно историческом. В общекультурном плане речь идет о формировании гибкой, диалектической двуполюсной доктрины, позволяющей монтировать и переинтерпретировать исторический материал в соответствии с актуальными прагматическими требованиями власти. В собственно историческом плане — перед нами классический пример «перегонки» истории в чистую политику. Если первый аспект представляет собой специфический для сталинской культуры феномен, то второй — совершенно типичен для всегда изменяющихся исторических доктрин: подобно тому, как Покровский переписывал русскую историю под свершившуюся революцию, приводя ее в соответствие с марксистскими установками (экономический детерминизм, антигосударственность и т. д.), сталинская эпоха возвращает русскую историю в русло новой народности и «советского патриотизма». Политика пронизывает историю в той же мере, в какой она пронизывает в это время эстетику.

Достаточно напомнить, что пик борьбы с «покровщиной» — 1936 год — совпал с соцреалистической революцией в советском искусстве. Серия установочных статей — в этом жанре были выражены, наконец, новые эстетические требования власти к искусству: к опере (редакционная «Правды» от 28 января «Сумбур вместо музыки»), к балету (редакционная «Правды» от 6 февраля «Балетная фальшь»), к живописи (редакционная «Правды» от 1 марта «О художниках-пачкунах»), к архитектуре (статья в «Правде» от 20 февраля «Какофония в архитектуре»). Тема была, разумеется, подхвачена «партийной печатью» и «советской общественностью» (редакционные «Комсомольской правды» от 14 февраля «Против формализма и “левацкого уродства” в искусстве», от 4 марта «Вдали от жизни» и от 18 февраля «“Лестница, ведущая в никуда”. Архитектура вверх ногами», статьи В. Кеменова в «Правде» от 6 и 26 марта «Против формализма и натурализма в живописи» и в «Литературной газете» от 24 февраля «О формалистах и “отсталом” зрителе», П. Лебедева «Против формализма в советском искусстве» в шестом номере журнала «Под знаменем марксизма» и мн., мн. др.).

Вместо революционного «сумбура» предлагалось вернуть народу «музыку» — не только в искусстве, но и в истории. В 1936 году разразился скандал в связи с постановкой в таировском театре «Богатырей» Демьяна Бедного. Шел ли здесь

разговор об искусстве или об истории, сказать уже определенно нельзя. Демьян Бедный, никогда не питавший никаких симпатий к русской истории и называвший ее «гнилой», изображавший русских «дрыгнувшими на печи», и писавший, что «российская старая горе-культура — дура», делал с народными преданиями то же, что и Покровский с историей. В его пьесе действительно имела место (по определению газеты «Правда») «фальсификация народного прошлого» (не большая и не меньшая, конечно, чем, к примеру, в пьесах А. Толстого об Иване Грозном — любая историческая концепция может быть в конечном итоге названа фальсификацией). «Разбойнички» Киевской Руси изображены были автором как революционный элемент, тогда как легендарные богатыри высмеивались как пьяницы, трусы и кутилы. Власть встала на защиту русской мифологии, определив последнюю как «народное прошлое»: «Героика русского народа, этот богатырский эпос, который дорог и нам, большевикам, все лучшие героические черты народов нашей страны и других стран, превращаются у Демьяна Бедного в материал поголовного охаивания богатырей», в «клевету на русский народ», в «оплевывание народного прошлого»⁴¹. По этим причинам пьесе было отказано в народности. Маркировалась одна культурная граница: против «заумного искусства» и, следовательно, против «левацкого охаивания прошлого».

Параллельность процессов, протекавших в эстетике и в политической истории, раскрывает важный культурный механизм: борьба в эстетике ведется под лозунгом «народности», борьба в истории — под лозунгом «исторической правды» — «историзма». Если видеть в «народности» образ массы, какой ее хотела бы видеть власть, то в «историзме» следует видеть образ прошлого, каким его хотела бы видеть власть здесь и теперь. «Историзм», как и «народность», оказывается диалектически гибким — все зависит от того, что в данном случае вкладывается в требуемый «образ». Во второй половине 1930-х годов в образ прошлого вкладывалась прежде всего героика, государственность, патриотизм (сделать «упор на военные, на героические темы», — призывал исторических писателей акад. Е. Тарле⁴²). Потому-то историческая концепция Покровского осуждалась за то, что «наносила прямой вред делу воспитания молодых поколений в духе советского патриотизма. Она игнорировала изучение героических традиций великого русского народа и не вооружала молодежь чувствами любви к своей родине и ненависти к ее врагам»⁴³. Советские историки, напротив того, «должны дать глубоко правдивое освещение героического прошлого народов Советского Союза. Историки советской страны пишут историю своей родины, как горячие патриоты. Они стремятся ярко и конкретно показать современным поколениям славные исторические традиции русского народа, традиции горячей любви к родине и жгучей ненависти к ее врагам... Образы великих русских патриотов, героев освободительной борьбы народов СССР, должны быть овеяны славой и бережно сохранены для потомства в трудах советских историков»⁴⁴.

Работа историка сводится к музеефикации «образов великих русских патриотов, героев освободительной борьбы». Пантеон, очертания которого были заданы еще в 1930-е годы, во время войны окончательно застывает, освященный в сталинской речи на Красной площади во время парада 7 ноября 1941 года, где были воскрешены «великие образы наших предков» Александра Невского, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова, после чего эти «великие образы» превратились в барельефы на новых орденах, введенных в годы войны. Война стала естественным толчком для развития исторического романа, апеллировавшего к героике прошлого. «На войне нам открылась история, ожили страницы книг. Герои прошлого перешли из учебников в блиндажи. Кто не пережил двенадцатый год как близкую и понятную повесть? Какой комсомолец не возмущен развалинами кремля в Новгороде?» — спрашивал в одной из военных статей И. Эренбург⁴⁵. История превратилась в «Свет в блиндаже». Настоящее как бы

оживило прошлое, приблизило его, превратив историю в притчу о победе. Исторический роман или фильм воспринимается как текст о современности⁴⁶. Огромный поток «военно-исторической литературы»⁴⁷ и кинофильмов о военачальниках, обслуживавший этот процесс, к концу сталинской эпохи достиг небывалых размеров.

Преодолевая марксистскую концепцию русской истории, сталинская культура все больше втягивалась в переработку прежних исторических концепций. Причудливая историческая мозаика, какой предстает перед нами русское прошлое в сталинскую эпоху, отстроена из осколков едва ли не всех предшествующих исторических доктрин. Эта своеобразная «интертекстуальность» должна стать предметом специального исследования. Нас занимают лишь некоторые наиболее важные для постройки конструкции нового исторического здания персонажи. К их числу, несомненно, следовало бы отнести историка Михаила Погодина — одного из основателей «концепции официальной народности». Сталинская культура во многих моментах повторила погодинскую «Историю». Государственнический пафос этой истории также проникнут ксенофобией, идеями народности и сильной власти. Не составляет труда провести здесь известные параллели. Куда важнее, однако, увидеть драматизм стыка, напряженность диалектического поиска несопрягаемых концепций. Покровский на равных с Погодиным присутствует в сталинской доктрине. Не полный, конечно, Покровский, как и не полный Погодин. Оригинальность сталинской эстетики истории не в открытии новой концепции прошлого, но в амальгамировании осколков прежних концепций.

Так, для революционной культуры формула «Россия — тюрьма народов» была совершенно живой. Всю эту культуру — от исторических исследований до романов пронизывает «антиимпериалистическая» оценка «собирания русских земель». В литературе наиболее заметным явлением такого рода можно признать роман Артема Веселого «Гуляй, Волга!», в котором поход Ермака изображен в виде разбойничьего гуляния полулюдей-полуживотных, с наслаждением истребляющих «сибирцев»⁴⁸ (можно напомнить, что в марксистской историко-литературной науке в 1920-е годы резко критически оценивается роль русской литературы, которая, как теперь выяснялось, была пронизана духом империализма — от Лермонтова до Л. Толстого). В марксистской истории «присоединение» всегда оценивалось негативно и «освободительные войны» всячески оправдывались. В «Замечаниях» к конспекту учебника истории СССР Сталин, Жданов и Киров говорят как о существенном недостатке о том, что история СССР представлена как только русская история. Объяснялось это тем, что традиционно история присоединенных народов входила в русскую «историю» лишь со времени их присоединения. Таким образом, история Грузии, например, существовала сама по себе до Георгиевского трактата, а после — описывалась как часть русской. Теперь же национальные истории оказались проинтегрированными в русскую историю так, что персонажами русской (или, точнее, советской) истории оказались Давид Строитель и Шота Руставели, Навои и Низами рядом с Дмитрием Донским или протопопом Аввакумом, каковые стали персонажами одновременно и русской, и киргизской, и армянской истории. Аннексия национальных историй достигает пика к началу 1950-х годов, в эпоху «борьбы с буржуазным национализмом», когда национальным историкам было предписано употреблять понятие «золотой век» только при описании эпохи, наступившей вслед за присоединением к Российской империи⁴⁹ (таким образом, «золотой век» в истории Грузии перемещался с эпохи Давида Строителя и царицы Тамары на 7-8 веков в будущее).

Наполнившись новыми персонажами, русская история сама подверглась очередной переработке: история России теперь превратилась в историю «дружбы народов». Это относится не только к эпохе «присоединений», в которой русские «первопроходцы», «мореплаватели», «открыватели новых земель» рисуются бла-

годетелями для прозябающих на задворках истории и «обреченных на вымирание малых народностей»⁵⁰, но и на историю Древней Руси. Так, в «Повести древних лет» В. Иванова читатель узнает, что новгородцы IX века являются друзьями-просветителями соседнего народа Биармии. Политика новгородцев в Подвинье формулируется новгородским военачальником следующим образом: «Нужно следить, чтобы кто из нас сглупа не обидел биарминов... не обижайте их никогда, братья... С ними всегда живите по нашей Новгородской Правде». И действительно, мы видим дружбу, отказ от дани, побратимство (как будто бы и не бывало русских набегов в IX веке на Византию, Кавказ, Прибалтику). Новгородцам противопоставлены в романе-хронике Иванова «норманы» (иначе говоря, Западная Европа). Это разбойники, живущие в зловонии, садисты, изуверы, уничтожающие все живое, угнетающие «низшие расы». А в это время славяне «по духу, чести и совести, без титулов и гербов, без турниров и замков, и богатых невест, беззвучно гнули спины в работе, страдали, терпели все муки, но с неотвратимой силой стихии осваивали непроходимые и почти безлюдные территории северо-востока и востока, шли в южные степи и выплавляли не порабощением, а трудом и дружбой людей всех племен государство-монолит на одной шестой части всего земного шара»⁵¹. В романе А. Загорного «Каменная грудь», напротив, уже нет «народного государства». Зато читателю предстоит узнать, что в эпоху Святослава русские князья, оказывается, запрещали «брать добычу» с покоренных ясов и касогов. Не менее странной выглядит болгарская политика Киева. Ожидая клича «На Царьград», именитые не перестают «восхищаться доблестью болгар, защищавших свои границы». А сам Святослав, не допускающий (во время похода!) «пограбления Болгарии», говорит о болгарях: «Болгары нам не враги, болгары нам братья». Во время странного этого похода воины говорят, что «поскольку на Дунае сплошь русские города нашего воздвижения, с нашим народом — добычи никакой быть не может» и вообще — надо «слиться с болгарями»⁵². Русь если и «ходила в походы», то войн не вела.

Чем более «миролюбивой» становилась русская история, тем большим «интернационализмом» пронизывалась историческая схема. Перед нами обычный путь советской концепции русской истории: на пересечении Покровского с Погодиным образовывается «странное место», где соединяется сочувствие к национальным меньшинствам Покровского с пренебрежением к ним со стороны Погодина. Точно так же встречается в сталинской исторической доктрине «индустриализационный» пафос революционеров с апологией крестьянской отсталости страны, которую находим у Погодина, утверждавшего, что в отличие от европейских крестьян, отличающихся «каким-то тупоумием», русский крестьянин «делает себе все сам, своими руками; топор и долото заменяют ему все машины». «А сколько бывает изобретений удивительных, — восклицал Погодин, — один простолюдин заменяет силу гидравлического пресса каким-то деревянным снарядом», другой «чертит планы в состязании с великим Архитектором»⁵³.

И хотя этот погодинский пафос оказывается «востребованным» в советской истории конца 1940-х годов, когда началось утверждение «русских приоритетов в науке»⁵⁴, одновременно здесь соединяется идея русского первопроходчества и превосходства (по Погодину) с идеей передового индустриализма (в соответствии с идеалами пламенных революционеров и эпохи индустриализации со знаменитым сталинским лозунгом «Лицом к технике!»). Если переосмыслить на фоне послевоенной эпохи известный призыв Демьяна Бедного рубежа 1930-х годов, обращенный к русским: «Слезай с печки!», можно сказать, что, как теперь выяснилось, русские никогда на печи не лежали, а если и лежали, то это была вовсе не дедовская печка, а нечто вполне индустриально-передовое. На первый план выдвигается теперь история науки, переписанная в невероятно короткий срок (1948—1950). Как и прежде, переписывание ведется не только в исторических

исследованиях, но и в исторических романах и фильмах. В эти годы на читателя обрушивается буквально шквал романов, пьес, фильмов о русских ученых-первооткрывателях, русских первопроходцах — «Каменный пояс» Е. Федорова (о том, как русские крепостные в 30-е годы XVIII века изобрели паровоз) и его «Большая судьба» (об «основателе» русского булата П. Аносове), «Юконский ворон» С. Маркова (о русских приоритетах в географической науке еще в эпоху декабристов), «Небо и земля» В. Саянова (о первых русских летчиках), «Остров Баранова» и «Колония Росс» И. Кратта, «Амур-батюшка» и «К Тихому океану» Н. Задорнова, «За три моря» К. Кунина, «Григорий Шелихов» В. Григорьева, «Ерофей Хабаров» Д. Романенко (о русских первопроходцах на Аляске, Алеутских островах, Камчатке, Сибири, Дальнем Востоке), «Софья Ковалевская» Л. и П. Тур, «Лобачевский» И. Заботина, романы о Радищеве, Некрасове, Чернышевском, Глинке... В кино «передовые ученые и деятели русской культуры» и вовсе заполнили послевоенный экран. В эпоху «малокартинья» на экраны вышли фильмы об академике Павлове, А. Попове, Жуковском, Ломоносове, Мичурине, Пирогове, Пржевальском, Миклухо-Маклае, Мусоргском, Глинке, Римском-Корсакове, Белинском...

Интерес к проблеме государственной все отчетливее замещается интересом к собственно национальной проблематике. «Музей революции», каким была история 1930-х, превращается в послевоенные годы в «Русский музей». Революционная и государственная культура все гуще покрываются румянами русскости, так что даже щусевский мавзолей — своеобразная скрепа обеих культур — объявляется памятником... русского зодчества. Это определенно конструктивистское сооружение трактуется теперь следующим образом: «Народность архитектуры мавзолея заключается не только в том, что он доступен для народа, что все его формы обращены к народу, но и в том, что их образный язык понятен народу, что его образ основан на архитектурной традиции, уходящей корнями в народное архитектурное творчество. Народные истоки архитектурной композиции мавзолея сказываются в том, что он трактован не фасадно, не плоскостно, а чрезвычайно объемно, почти скульптурно и очень правдиво — без декоративных излишеств. Не только чутье художника, но и большая художественная культура Щусева, глубокое знание народного древнерусского зодчества помогли при разработке мавзолея Ленина выбрать правильный путь»⁵⁵...

Советский исторический роман, фильм, пьеса, картина⁵⁶ есть история без прошлого. Здесь, впрочем, никаких открытий соцреализм в историческом жанре не сделал. Важнее другое: государственная монополия на историю и прошлое определила статус советского исторического жанра, в частности, исторического романа как романа во всех смыслах государственного. Его «реалистическая» фактура (всей истории советского исторического романа сопутствовала борьба с эксцентрикой, жанризмом, костюмностью), его исходная концепция, сам его пафос задавались государством. Не удивительно, что государство было главным его героем. Но это был еще и роман государства с историей, естественная попытка «приручить» прошлое. История и литература встретились в пространстве советской культуры. Их встреча несколько не была случайной: истории как рассказу о прошлом естественно найти себя в литературе. С другой стороны, и советский роман, расписывавший, если воспользоваться определением К. Кларк, «историю как ритуал»⁵⁷, тяготел к «новому типу историзма». «Историческая конкретность» — одно из основных требований соцреализма — имела для исторического романа принципиальное значение. «Учитывая своеобразие исторического романа, — читаем в академической «Истории русского советского романа», — можно сказать, пожалуй, что ни в одной другой разновидности романа в целом не произошло более крупных структурно-тематических изменений по сравнению с прошлым, чем здесь»⁵⁸. Эти изменения были связаны не с тем, что исторический роман оказался погруженным в новую историческую концепцию. Куда важнее характер

этой концепции.

В ходе развернувшейся в 1934 году в журнале «Октябрь» дискуссии об историческом романе эта концепция была лишь намечена. Важнее, однако, результаты самой полемики, наиболее существенным из которых, безусловно, стала концепция исторического романа, выдвинутая Г. Лукачем⁵⁹, пытавшимся соединить марксистскую расколотость мира с гегелевской целостностью. Согласно Лукачу, роман историчнее драмы, поскольку драма изображает исторический кризис, концентрирует изображение исторических законов, основываясь на изображении исторических героев. Все это, с точки зрения Лукача, для исторического романа не характерно. Последний должен изображать «полноту жизни», ее конкретность, передавать специфический аромат эпохи, ее колорит. Иными словами, роман историчнее драмы. Концепция Лукача выглядела утопией уже тогда, во второй половине 1930-х годов, когда советский исторический роман по всем параметрам соответствовал модели именно исторической драмы. Фактически, жанр исторического романа (в его классической форме, близкой романтикам и Вальтеру Скотту) оказался утерянным как раз... в эпоху его расцвета в 1930-е годы. Жанровые изменения были связаны с тотальным осовремениванием истории, ее прагматизацией, достигших высшей фазы в принципе соцреалистической партийности.

На протяжении всей советской истории предпринимались попытки примирить историзм с партийностью⁶⁰. Наиболее прямой путь снятия конфликта состоял в применении принципа партийности к принципу историзма. Партийность релятивизирует любые принципы, практически отменяя их. Историзм также должен был стать гибким для того, чтобы быть пригодным для актуальных нужд власти. Потому-то ему предстояло войти в общую систему гибких, диалектически противонаправленных принципов соцреализма, стать смесью «правды жизни» с «революционной романтикой»: «Историзм ленинского учения — это научное осмысление реальной исторической действительности, основанное на соотносении человека с историей. Действительность рассматривается как логическое продолжение исторического процесса в его постоянном развитии и устремлении в будущее, с позиций которого определяются и оцениваются ведущие тенденции современности»⁶¹. Формула эта, по знакомой соцреалистической диалектике, верна и в обратном прочтении: если «ведущие тенденции современности» определяются и оцениваются с точки зрения истории, то и прошлое должно определяться и оцениваться с точки зрения «ведущих тенденций современности»: «Социалистический историзм — это художественное осмысление жизни с позиций коммунистического идеала, определение ведущих тенденций эпохи, способствующие образному воспроизведению жизни в ее исторической перспективе и исторической ретроспекции, приводящие писателя к созданию образа времени и типического героя эпохи»⁶². Фактически здесь повторяется формула соцреализма, требующего «правдивого, исторически конкретного отражения действительности в ее революционном развитии» — и того, и другого одновременно. Стать соцреалистическим для исторического романа означало стать партийным, подчинив историческую концепцию концепции власти. Речь шла не о содержании этой концепции (в течение советской эпохи она менялась неоднократно), но о самой готовности и способности к заданному извне изменению. В оценке интенсивности этого процесса советские исследователи не ошиблись: «В 1930-е годы — уже наблюдается не различие в историзме художественного мышления писателей, как это имело место в литературе 1920-х годов, а различное стилевое проявление художественного историзма в рамках одного творческого метода. Даже произведения писателей, стоящих, как на первый взгляд кажется, в стороне от основной линии развития литературы, тоже отличаются историзмом, присущим творческому методу в целом»⁶³. Понятие «историзм» в применении к историческому роману или фильму является эвфемизмом для обозначения принципов соц-

реализма в истории. Историзм стал партийным. Партийным был и советский исторический роман, который, подобно всей литературе соцреализма, явился «самым идейным, самым передовым романом о прошлом, какой когда-либо знала мировая литература»⁶⁴.

Процесс «исторического синтезирования» составлял истинный сюжет советского «передового романа о прошлом», заставляя историка, писателя, режиссера, художника не просто переписывать и модернизировать прошлое, но соединять казалось бы несоединимое. Дискретность, идеологическая перегруженность, нелинейность исторического видения сталинской эпохи придали драматизм истории-рассказу, составив его сюжет. Потому-то смысл сегодняшнего чтения советского исторического текста (от исторического исследования до пьесы, от романа до фильма) состоит, конечно, не в том, чтобы узнать что-то об Иване Грозном или об Емельяне Пугачеве (для этого и вовсе незачем читать романы или смотреть фильмы), но даже и не в том, чтобы понять, что имел в виду автор, так оценивая те или иные события или персонажей прошлого. Главный интерес представляет самая стратегия обращения с прошлым, оптика чтения прошлого в советском историческом тексте, наконец, процедура синтезирования разных оптик в новой стратегии исторического переписывания. Своеобразие советских исторических текстов — в их небывалой эклектичности, приобретающей своеобразную эстетическую ценность.

Советский исторический роман 1930 — начала 1950-х годов был принципиально непригоден для выражения некоей универсальной философии истории, представляя собой явление глубоко «конкретно-историческое». Если сегодня окинуть историческую литературу и кино сталинской эпохи, мы узнаем из них *прежде всего о самой этой эпохе*. Причем, именно то, что эта эпоха хотела о себе сказать. Это верно для исторической литературы вообще. В историческом романе 1930 — начала 1950-х годов читается прежде всего самоидентификация власти. Выбор жанра был для *этой* эпохи, конечно, не случайным: исторический роман — жанр глубоко антиреволюционный, апеллирующий к традиции, памяти и «почве». Эта «своевременность» жанра обрекла его на тотальную аллюзивность и сервильность. С другой стороны, сталинская культура не просто искала своего «подтверждения в истории», исторической легитимации (что свойственно любой культуре), но, несомненно, нуждалась для демонстрации своей исторической укорененности в «непрямых средствах», постоянно балансируя между якобинской и термидорианской концепциями. История оказалась поистине «полем чудес», позволяя не только использовать «идеологический потенциал» школы, литературы и искусства, но и давая бесконечные возможности для идеологического фантазирования (речь идет именно о фантазировании, поскольку идеологическое творчество составляло прерогативу власти).

Если от характеристики романа перейдем к характеристике самой советской исторической науки, то прежде всего увидим, что у советской «Истории» нет автора. Она *деперсональна* (в отличие от всегда авторских историй как дореволюционных, так и революционных), что вообще характерно для соцреалистического производства. В силу деперсональности советская «История» *предполагает наличие преданных «сюжетных» идеологических клише-блоков*, объединяющих эту «Историю» (за неимением персонального автора) в единое целое, что также сближает ее со всяким соцреалистическим текстом (автором является сама власть). Смена идеологем определяется принципом партийности: советская «История» *партийна*, причем, как и в случае с литературой, принцип партийности был рожден уже в революционной культуре. Его активным сторонником был Покровский, который даже в одном из последних своих выступлений, в декабре 1931 г. продолжал настаивать: «Мой завет вам — не идти “академическим” путем..., ибо “академизм” включает в себя как неперемненное условие признание этой самой

объективной науки, каковой не существует. Наука большевистская должна быть большевистской»⁶⁵. И хотя подобный агрессивный «антиобъективизм» был осужден, «принцип партийности исторической науки» оставался незыблемым. Советская концепция истории прошла ту же смену классовости на народность, какую претерпела советская эстетическая доктрина. Принцип *классовости*, который оставался центральным в революционной культуре, сменяется в середине 1930-х годов принципом *народности*. Отказ от классовости лишил прежнюю историю сюжета — классовый детерминизм служил здесь всеобъясняющей мотивационной пружиной. Лишившись ее, исторический нарратив потребовал новых мотивировок. Такой универсальной мотивировкой стала идея заговора, на которой строился сталинский «Краткий курс» (можно сказать, что на сюжетно-мотивационном уровне все советское историзирующее искусство — литература, кино, театр, — о ком бы оно ни повествовало, какую бы эпоху ни описывало — XI век, XVI или XIX было лишь экранизацией «Краткого курса»). Расписанный в романах и визуализированный кинематографом (собственно, вся историческая беллетристика во главе с «Петром Первым» — самым известным советским историческим романом, и советский исторический фильм во главе с «Иваном Грозным» С. Эйзенштейна повествовала о заговоре), заговор, заменивший «классовую борьбу», стал не просто сюжетной отмычкой, но фактически создавал сюжет, вокруг него вращалось все действие.

Описанные процессы явились определяющими как для соцреалистической доктрины, так и для доктрины исторической.

История стала «занимательной»; наполнившись людьми («характеристиками исторических деятелей»), она изображала теперь прошлое в «реалистических образах» — «формах самой жизни», обрела «социалистическое содержание» и «национальную форму».

В результате принципы советской исторической концепции *полностью совпали* с принципами советской эстетической доктрины — соцреализма. Между ними нет принципиальной границы. Имеющиеся же границы могут быть определены как внутренние, не более, чем жанровые. Если учесть к тому же, что история, которая, как заметила акад. Панкратова, «находит горячий отклик в сердцах читателей в Советской стране», раскрылась наиболее полно в романах, фильмах, картинах и пришла к читателю (зрителю) не столько через скупые строки школьных учебников истории, сколько через литературу, кино, живопись, остается предположить, что советская «История» — это и есть советская литература, и, следовательно, советский историк — лишь разновидность советского писателя. Потому «Краткий курс истории ВКП(б)», так же как и советский учебник по русской или всемирной истории, ожидают своего филологического исследования (вопрос об атрибуции этих текстов власти не является дискуссионным).

«История народа принадлежит царю» — так закончил свое посвящение автор «Истории государства Российского». Если из этой карамзинской формулы вычесть две валентные величины — народ и царя (их истории, как мы могли убедиться, с трудом различаются), останется: «история принадлежит». И *эта* формула является действительно ключевой. Характер исторического знания — основы национально-культурной идентичности — определяется тем, является ли история фактором социально-политической борьбы, «принадлежит» отдельным лицам (пишущим ее), социальным группам и политическим партиям — в этом случае история подобна роману; либо история принадлежит государству, превращаясь в эпос.

В последнем случае резко возрастает степень «поучительности» истории, которая, превращаясь в ключевой компонент общего политико-эстетического проекта, почти непременно становится «занимательной».

ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 А. Панкратова. Советская историческая наука за 25 лет // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М.; Л., 1942. С. 21.
- 2 А. Антоновская. Заметки об историческом романе // Литературная газета. 1938, 26 ноября.
- 3 М. Серебрянский. Советский исторический роман. М., 1936. С. 42.
- 4 С. Кавтарадзе. «Хронотоп» культуры сталинизма // Архитектура и строительство Москвы (Зодчий). 1990. № 11. С. 7.
- 5 К изучению истории. М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. С. 21.
- 6 См.: George M. Enteen. The Soviet Scholar-Bureaucrat: M. N. Pokrovskii and the Society of Marxist Historians. University Park & London, 1978.
- 7 См.: А. Гулыга. Эстетика истории. М., 1974.
- 8 Большинство этих материалов вошло в сборник «К изучению истории» (М., 1937).
- 9 Там же. С. 22.
- 10 Там же. С. 25.
- 11 Там же. С. 33.
- 12 Там же. С. 36.
- 13 См.: Б. Гройс. Отстроенная идеология // Искусство кино. 1994. № 10. С. 98.
- 14 М. Розенталь. Против вульгарной социологии в литературной теории. М., 1936. С. 52.
- 15 Е. Левин. Экранизация: Историзм, мифография, мифология (К типологии общественного сознания и художественного мышления) // Экранные искусства и литература: Звуковое кино. М., 1994. С. 74.
- 16 Октябрьская революция. Сб. статей. М., 1929. С. 13.
- 17 См.: М. Каммари. Марксизм-ленинизм о роли личности в истории. М., 1953.
- 18 Знамя. 1937. № 10. С. 249.
- 19 См.: М. Серебрянский. Советский исторический роман. М., 1936; Ж. Оснос. Советская историческая драматургия. М.: Сов. писатель, 1949; Р. Мессер. Советская историческая проза. Л., 1955; С. Петров. Советский исторический роман. М., 1958; Г. Ленобль. История и литература: Сб. статей. М., 1960; Ю. Андреев. Русский советский исторический роман (20—30-е годы). Л., 1962; В. Паушто. Средневековая Русь в советской художественной литературе // История СССР. 1963. № 1; Л. Александрова. Советский исторический роман и вопросы историзма. Киев, 1971; В. Оскоцкий. Роман и история: Традиции и новаторство советского исторического романа. М., 1980.
- 20 См.: Р. Юрнев. Советский биографический фильм. М., 1949. См. также: Советский исторический фильм. Сб. статей. М., 1939.
- 21 Н. Хренов. Диалог кино и литературы в контексте противоречий развития культуры 30—40-х годов // Экранные искусства и литература: Звуковое кино. М., 1994. С. 176.
- 22 К. Симонов. Глазами человека моего поколения // Знамя. 1988. № 4. С. 72.
- 23 См. анализ романа В. Язвицкого в ст.: В. Т. Паушто. Средневековая Русь в советской художественной литературе. С. 109—111.
- 24 Об этом, в частности, говорил К. Симонов в своем докладе на Втором съезде писателей. Рассуждая об исторических жанрах в литературе и кино, он осуждал «установившуюся практику», когда «великие люди превращались в живые монументы», и говорил об «однобоком характере» советского исторического (точнее было бы сказать «историко-биографического») романа (См.: Стенографический отчет Второго Всесоюзного съезда советских писателей. М., 1956. С. 96).
- 25 С середины 1950-х годов началась не только переоценка прежней концепции крестьянских войн, но и было опубликовано большое число исторических материалов, рисующих размах восстаний и раскрывающих невероятную жестокость не только подавления этих восстаний, но и самих восставших крестьян. См. обзор дискуссий советских историков в кн.: Anatole G. Mazour. The Writing of History in the Soviet Union. Stanford, 1971. P. 111—123.

- 26 Д. Петров-Бирюк. Дикое поле. М., 1946. С. 122.
- 27 Там же. С. 104, 80-81.
- 28 Там же. С. 303.
- 29 Там же. С. 306.
- 30 В. Язвицкий. Иван III — государь всяя Руси. Кн. 4 и 5. М., 1955. С. 803.
- 31 Д. Еремин. Кремлевский холм. М., 1955. С. 46.
- 32 Цит. по ст. В. Т. Пашуто «Средневековая Русь в советской художественной литературе», содержащей широкое сопоставление исторических романов 1940—1950-х гг. с историческими источниками.
- 33 М. Езерский. Дмитрий Донской. М.; Л., 1941. С. 117.
- 34 См.: *Richard Stites. Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution.* New York-Oxford, 1989. P. 59—164.
- 35 М. Покровский. Историческая наука и борьба классов. Т. 1. М.; Л., 1933. С. 280, 185—187.
- 36 А. Савич. Польская интервенция начала XVII в. в оценке М. Н. Покровского // Против исторической концепции М. Н. Покровского. Сб. статей. Ч. 1. М.; Л., 1939. С. 232.
- 37 Цит. по: С. Дудаков. История одного мифа. М., 1993. С. 218.
- 38 М. Покровский. Дипломатия и войны в царской России. М., 1924. С. 56—57.
- 39 Цит. по: В. Пичета. М. Н. Покровский о войне 1812 года // Против исторической концепции М. Н. Покровского. Сб. статей. Ч. 1. С. 294.
- 40 Правда. 1936. 27 января.
- 41 П. Керженцев. Фальсификация народного прошлого (О «Богатырях» Демьяна Бедного) // Правда. 1936. 15 ноября.
- 42 Литературная газета. 1940. 6 октября.
- 43 А. Панкратова. Советская историческая наука за 25 лет. С. 13.
- 44 Там же. С. 36.
- 45 И. Эренбург. Собр. соч. в 9-ти томах. Т. 7. М., 1966. С. 674—675.
- 46 См.: Е. Добренко. Метафора власти: Литература сталинской эпохи в историческом освещении. Мюнхен, 1993. С. 297—317.
- 47 См.: Б. Б. Кафенгауз. Военно-историческая литература в СССР за 25 лет // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. М., 1942. Историк литературы также имел все основания утверждать: «К началу военной эпохи в жизни нашего социалистического государства сложился уже зрелый советский военно-исторический роман» (Р. Мессер. Советская историческая проза. С. 225).
- 48 См.: М. Серебрянский. Советский исторический роман. С. 77—80. Можно сравнить этот роман с «Ермаком» Е. Федорова, изображающим «покорение Сибири» в совершенно ином ключе.
- 49 См.: Е. Добренко. Метафора власти. С. 364—382.
- 50 См.: Yuri Slezkine. Primitive Communism and the Other Way Around // Thomas Lahusen and Evgeny Dobrenko (ed). *Socialist Realism without Shores.* - Durham-London, 1997.
- 51 См. анализ романа В. Иванова в ст. В. Т. Пашуто «Средневековая Русь в советской художественной литературе». С. 90.
- 52 Там же. С. 91.
- 53 М. П. Погодин. Сочинения. Т. IV. М., 1874. С. 5-6.
- 54 См.: Е. Добренко. Метафора власти. С. 382—390.
- 55 Н. Б. Соколов. А. В. Шусев. М., 1952. С. 43.
- 56 Об «исторической живописи» в сталинскую эпоху см.: И. Голомшток. Тоталитарное искусство. М., 1994. С. 217-227.
- 57 См.: *Katerina Clark. The Soviet Novel: History as Ritual.* Chicago, 1981.
- 58 История русского советского романа. Кн. 1. М.; Л., 1965. С. 338.
- 59 Книга Лукача об историческом романе была написана в 1936—1937 годах и впервые во фрагментах опубликована в журнале «Литературный критик» (1937. № 7, 9, 12; 1938. № 3, 7, 8, 12).
- 60 См.: В. В. Иванов. Соотношение истории и современности как методологичес-

кая проблема. М., 1973; *его же*. Ленинский историзм: Методология и методика исследования. Казань, 1976; Историческая наука: Вопросы методологии. М., 1986.

61 Л. П. Александрова. Советский исторический роман и вопросы историзма. С. 23.

62 Там же. С. 84. (Ср. с утверждением одного из самых официозных советских критиков: «Обращение литературы социалистического реализма к героическому опыту отечественной истории подчинено современности, решению насущных, сегодняшних социальных и нравственных задач» — Ф. Кузнецов. Литература — Нравственность — Критика // Современная литературная критика: Вопросы теории и методологии. М., 1977: С. 91).

63 Там же. С. 85.

64 Р. Мессер. Советская историческая проза. С. 296.

65 М. Покровский. Историческая наука и борьба классов. Вып. 2 // Ем. Ярославский. Антимарксистские извращения «школы» М. Н. Покровского. Против антимарксистской концепции М. Н. Покровского. Ч. 2. М.; Л., 1940. С. 9.